

— А как ты встретил своего первого немца?

Дед ответил:

— Он пришёл сам, воровал у нас яйца в курятнике. Здоровенный такой, рыжий, коротко стриженный, весь в веснушках. Рукава серого кителя закатаны по локоть, широкие форменные брюки, вычищенные сапоги. В левой руке — стальная каска с яйцами, а в правой — парабеллум, направленный на меня.

— А потом, что потом?

— А потом я и ещё несколько моих сверстников проследили, как двое немцев ушли за околицу.

Ему было тогда пятнадцать.

— У вас было оружие? Откуда?

— Оружие мы находили повсюду, без оружия никого не брали в партизанский отряд. Мы, подростки, заигрывались в войну, сражались в окопах

среди убитых красноармейцев. Обращаться с оружием не умели, точнее — только учились; случалось, и себя, и друг друга в этой боевой забаве калечили.

Немцы носили коричневые ремни из свиной и телячьей кожи, ранцы, сумки, как и вся немецкая амуниция, были удобные, но мы их не брали. Брезговали.

— А зачем? Зачем она была вам нужна?

— После взятия Смоленска немцами пришла пора уходить из деревни, оружия хватало, а с одеждой были проблемы. Форму снимали с убитых красноармейцев. Хорошо, если командир попадётся или политрук. Галифе, сапоги, ремень, португеею можно было позаимствовать. Тогда мне хотелось найти ремень со звездой на пряжке, но попадались одни солдаты, а желанный ремень носили командиры. На грязную одежду внимания никто не обращал, главное, чтобы одежда была не изорвана. Я тогда долго не мог подобрать сапоги. Нашёл подходящие. Стащили с убитого эсэсовца. Этот офицер был тяжело ранен. Потом, уже убитого, мы заволокли его в подлесок и раздели. Обувь германская мне в пору пришлась, размер тридцать девятый — мой.

Дед улыбнулся и продолжил:

— Мы жили в старинном селе Дуброво, которое люди нарекли

Епифанью в честь моего деда Епифана Тимофеевича, унаследовавшего от графини Орёл всё недвижимое имение, крепостных крестьян и дворовых людей. Графиня преставилась в день пленения имама Шамиля. Так на протяжении десятков лет проживало наше семейство, даже после революции и Гражданской войны помещичий быт не изменился, всё вокруг принадлежало нам: лес, река, мельница, яблочный сад, вишнёвый сад и дом. Обстановка в доме не изменилась со смертью графини. Старинная мебель и десятки икон, привезённых графиней-паломницей из Иерусалима и Константинополя, с Афона и Синая, и портрет моего прадеда, ополченца, получившего «Егория Храброго» за штурм Утицкого кургана во время Бородинского сражения, сопровождали моё детство. В тридцатые отца расстреляли. Нас осталось восемь человек детей и мать. Я — младший. Старший брат погиб на фронте. Детей «врагов народа» забирали в Красную Армию и отправляли на передовую. В июле сорок первого пришли фашисты. Партизанское движение зародилось на Смоленщине ещё со времён польского нашествия, в наших лесах укрывались народные мстители — «громлённые крестьяне», или «шиши». В сорок первом смоляне уходили в леса поодиночке и

многочисленными отрядами с оружием в руках. В партизанский отряд я попал в конце сентября. У меня был тот самый парабеллум конопатого фрица, сапоги танкиста и винтовка. Помню, таскал свой первый трофей за голенищем, подсмотрел, как носили пистолеты стреляные вояки вермахта, только я всё время боялся его потерять. В сентябре сорок третьего Смоленск был освобождён, и партизанские соединения вливались в ряды регулярной армии. После проверок меня откомандировали в армию генерала Черняховского, который впоследствии командовал Третьим Белорусским фронтом, освобождал Белоруссию, Прибалтику и погиб в Восточной Пруссии.

В сорок четвёртом году меня вызвали в особый отдел. Дальнейшую службу в звании гвардии старшего сержанта я проходил на территории Белоруссии — в Бобруйске и Барановичах.

Чуть позже я стал преподавать в школе сержантов, а парабеллум всегда был при мне, я не мог с ним расстаться.

После окончания войны я приехал на побывку к родным. Жить негде, есть нечего, карточки ещё не отменили, только водка дешевила. Школу я не закончил, хотя мы, фронтовики, имели право на бесплатное обучение. Я решил остаться на сверхсрочную службу, подумал,

что так будет легче для всех. В послевоенное время в армии, да и не только в ней, убивали по привычке из-за пьяных споров и никчёмных обид. Народ, ослеплённый войной, сжился с жестокостью. Оружия было столько, что никто не знал, что с ним делать. Люди озверели за четыре дьявольских года, а я всё хранил парабеллум. Как-то на летней танцевальной площадке клуба офицеров майор-фронтвик убил новоиспечённого лейтенанта из-за девушки выстрелом в упор из трофейного вальтера. Пришли, проверили табельное оружие майора, освобождавшего Прагу, а запаха пороха нет. Только позднее кто-то донёс о трофейном пистолете. Майора-орденоносца осудили. А после разоблачения культа личности и амнистии что творилось?.. У нас в Подмоскowie в бараке проживал матёрый ширмач-голубятник. Как-то на Первомай фабричный комсорг пробрался в его голубятню и топором порубал головы птицам, а топор оставил. Кошелёшник вернулся домой, зашёл в голубятню, взял топор, нашёл голубиноного палача и отрубил голову победителю Квантунской армии.

Горькое откровение деда не умещалось в сознании. Фронтовики были для меня людьми истины. Как они могли? Офицеры — друг друга, фронтвик — голубей топором, зачем?

Позорная дикость. Как? Как они жили?

— Дедуль, а как ты служил после войны? — осторожно поинтересовался я.

Он опустил голову. Весна была в разгаре. День стоял солнечный, и запах черёмухи распространялся по городу. Во дворе располагалась ТЭЦ, на которой ранее работал дед, сначала он был секретарём комсомольской, а потом партийной организаций.

— Меня будили часа в два, или три, или ближе к утру. Приезжали три или четыре офицера МГБ, и мы ехали на задание. Так случалось часто. И я уже привык к ночным поручениям.

Я с нескрываемым интересом и уважением посмотрел на нагрудный знак «Отличный разведчик». Он продолжил:

— Старший группы был не ниже майора, все вооружены автоматами. Всё время в дороге, я молчал. Ехали в неизвестном направлении. После войны на территории Белоруссии, Украины, Литвы оставалось множество военизированных группировок. Их уничтожали до середины пятидесятых. Если поступала оперативная информация о том, что некто из бандеровцев, власовцев, бывших полицейских или дезертиров тайно посещает какой-либо населённый объект, то информация своевременно проверялась. Во время таких

проверок я входил первый в жилище, находящееся под подозрением. Как правило, я заходил без оружия, в руке у меня был только фонарь, а за спиной — младший группы, чином не ниже лейтенанта, с автоматом. И никто не подозревал, что в кармане галифе у меня была тайная защита. Я всегда отдавал себе отчёт, что и в этом случае шансов мало, поэтому подходил вплотную во время обыска к месту, где, возможно, притаился враг, и резко включал фонарик. Яркий свет мог спровоцировать выстрел в упор.

— А ваша группа? Они же были лучше вооружены? Почему они были сзади?! — рассыпал я свои вопросы.

Я поймал суровый взгляд деда. Его тёплые голубые глаза показались мне серыми, омерзительными, я впервые увидел нечеловеческий оскал. Дед выдавил из себя:

— Так было надо.

Эти вопросы осели у меня в голове, спрятались в моём сердце. Больше я никогда не спрашивал его о том времени.

Прошли годы. Он болел, я ухаживал за ним. Перед смертью, в больнице, он сжал мою руку и пробормотал: «Что они с нами делали, Саша! Когда они приезжали, я бежал босиком по снегу в сарай и прятался там, спустя время за мной приходила Дуся, я помню, как синели

мои руки и леденело тело, как от холода я не чувствовал слёз».

Я прощался с ним так, как прощался с трёхлетнего возраста: крепко сжимая могучую руку и нашёптывая симоновские строки: «Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла...»

Через год я оказался на Смоленской земле. Моих родственников тянуло на землю пращуров, как и меня. Ехали на двух машинах. Везли ограду для могилы мужа Евдокии Орловой, старшей сестры моего деда. В сорок втором Василий Серков, муж Евдокии, ночью пришёл за продуктами в село Новоспасское, его выдали немецкие прихвостни. На следующий день гитлеровцы прилюдно повесили партизана. Евдокия была характера упёртого, так мне рассказывал дед. Как только фашисты ушли, она собрала солдатских и партизанских жён и устроила кровавое судилище не только над немецкими приспешниками, но и над их домочадцами. Изгоревавшиеся русские женщины, истощённые сталинским раскулачиванием, затравленные гитлеровской оккупацией, забивали до смерти фашистских холуёв, некоторые из которых ранее состояли в комбедах, сельсоветах, промышляли самогонованием, стряпали доносы. К закату солнца растрёпанная и окровавленная Евдокия вернула в дом своих быка и корову

с телятами, которых отобрали в возрасте молодняка.

Ехали мы быстро, помню, как величественно под Дорогобужем мои дядья привели меня на земляную насыпь и торжественно показали Днепр. Не забыть мне Ельню, усадьбу Глинки и Болдинский монастырь, красующийся в лилейном отчуждении от всего человечества.

Мы приехали в Епифань. На второй день я ушёл из нашего палаточного лагеря. Меня сильно влекло в хмурый Епифановский лес. Казалось, он хранит столетние тайны в неприкосновенных чащобах. Эта вековая непроходимая ширь помнит незваных пришельцев: ордынцев и литовцев, поляков и французов, немцев. Эта вечнозелёная и колючая безлюдность укрывала кривичей, половчан и моего деда. Здесь нашли пристанище и рыжий пехотинец, и танкист-эсэсовец. Гуляя по опушке, я думал, что этой еловой дремучести нет измерения. И нет никакой возможности овладеть заветной глушью.

Грёзы мои рассеялись, я долго плутал и, к счастью, вернулся в наш стан. Закончилась водка, а полбатона хлеба едва хватило на ужин. Утром мы отправились в ближайшее село. Проехали через вымершие деревни, которые были однофамильцами моих родственников. Остались позади Лапино и Серково.

На обратной дороге остановились около одинокого перекошенного дома. Вышел хозяин. Мы стали расспрашивать его о прежних жителях. Старик неизвестного возраста в истрёпанном военном пиджаке образца восьмидесятых, кирзовых сапогах, в рваной меховой шапке с одним ухом, земляным цветом лица, голубоглазый был неразговорчив. Когда он услышал нашу общую с дядей фамилию, резко с неохотой оборонил:

— Знаю я только одного Сашку Орлова, с которым партизанил, а более и знать мне нечего.

Дядя посмотрел на старика, указал на меня и сказал:

— Этот последний из рода Орловых.

Старик ушёл, потом вывел к нам свою мать. Мне сложно сказать, сколько лет было этой необычайно высохшей, маленькой и слепой старушке. Она пощупала мою руку и умилённо прошептала:

— Стало быть, барин вернулся, вот значит как, теперь и помирить можно.

Неожиданно для самого себя я спросил:

— А Жуковы живы? Где их дом?

Старик оцепенел и с прищуром процедил:

— Много тебе, барчук, видать, дед поведал.

— Да так, только самую малость.

— Значит, и тебя кумачовый срящ не отпускает? Вроде и не был там, а всё как перед глазами, да, барин? — хлёстко вырвалось у старика.

— Бывает, — нехотя бросил я.

— Не страшно?

— По-разному.

— Ну, коли истину ищешь, значит, вера, надежда и любовь в тебе живы. От этого и сердце ломит. Главное, в руки Спасителя ввериться, он направит и бережёт, — отрешённо протянул старый смолянин.

Он закурил сигарету и начал деловито излагать:

— Было это спустя год после смерти барина, тот солнечный день выпал на летнюю макушку. В горячую пыль тридцать вёрст мчались тарантасы, повозки, телеги, а во главе на тройке ехали братья Жуковы. Вся сельсоветская ватага утопала в кумачовых знамёнах и алых лентах. Раздавался разудалый звон бубенцов и песни под гармошку, так к барскому дому явился жених Жуков-старший в сопровождении братьев и сватов. На крыльцо дома вышло всё ваше стержневое семейство: барыня Анна Ивановна и восемь человек детей. Твоему деду тогда было лет пять, его под руку вывел старший брат. Сватовство было кратким. Жуковы жёсткий отказ при всём сбежавшемся народе простить не смогли.

Уезжая, жених прокричал: «Скоро мы вас всех!.. Слышите, Орловы, всех! Всех изведём!» А слово своё Жуковы держать умели, так-то, барин. Чего ещё тебе дед сказывал? — замысловато поинтересовался старик.

— Про Жуковых всё. Когда дед демобилизовался, жажда отмщения его не покидала. Где-то на опушке Епифановского леса он закопал парабеллум, — я замолчал.

— Кладенец ищешь, барин, — сердито ухмыльнулся старик, — оттого и спишь плохо, срящ кумачовый не отпускает. Деда не отпускал, а теперь вот и тебя. Памятозлобие — это печать Антихриста, так старец оптинский Амвросий завещал. Смирись! Жуковых и всё их семья злодейское война наказала, нет их больше, и род их паскудный исчез навеки, — крадучись, заглядывая мне в глаза, наставлял друг деда.

Мы засобирались.

Земляк моего деда заворожённо смотрел на полёт хищника, а потом вдохновенно произнёс:

— Беркут! Высоко парит, там теплее. Добычу выискивает: коростель или тетерева, а может, лисицу или косулю, да и на волка налететь может. Добрая примета! Орёл — царь птиц — завсегда к воскресению жизненному прилетает. Апостола Иоанна Богослова знак.

Старый партизан хмуρο обронил:

— Друг мой, Сашка, седой был. Не помню я, когда он поседел. Мне кажется, он такой всегда был, сколько его помню. Может, когда чекисты к вам в дом повадились, может, когда его немцы на расстрел вели, не помню. Дед, правда, был весь седой, сколько помнили его все.

Мы сели в машину. Старик пробормотал напоследок:

— За прадеда твоего всю жизнь Бога молим. Ещё огольцом мне довелось видеть, как барин выходил в поле, и молитвенное слово его разносил ветер. Барскими молитвами люди и скотина исцеления получали. В те года, когда не только хлеб, а лапти и грибы у нас отбирали, мы барским лесом и садом жили. Епифань для меня с рождения — спасительное место. Когда дубы у вашего дома были полны желудями, к Павлу Епифановичу пришли православные и христородавцы, спор у них вышел из-за урожая. Барин по совести рассудил, евреи местечковые правы оказались. Разве Советская власть такое стерпеть могла? Сколько лет после революции минуло, а народ всё к барину за правдой ходит. Так барина нашего, прадеда твоего, в Рославль и свезли, там и кончили, в газете писали, сам расстрельные списки видел. Немало собралось на

смоленской Голгофе невинного люда. Ну бывайте, отчизнолюбы! С Богом!

Мы вернулись в Москву. На квартире деда я помогал тёте разбирать старые вещи. Залез на антресоль. В ближнем правом углу я нашёл знакомый мне с детства вещевой мешок деда. Он был выцветший, весь

в заплатах, тонкий на ощупь, покойная бабушка хранила в нём лохмотья. Я схватил мешок, спрыгнул с лестницы. Мешок показался тяжеловатым. Я открыл его. Парабеллум! Люгер рыжего Фрица, или Ганса, или Хорста. Счастливый трофей моего деда. Теперь он мой!

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Парабеллум — пистолет Люгера (Люгер, Парабеллум нем. P08, Parabellum, Vorchardt-Luger) — разработан в 1900 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Хуго Борхардта, состоял на вооружении Вермахта во время Второй мировой войны.

2. Орлов Павел Епифанович, родился в 1880 г., Смоленская обл., дер. Паньково; русский; б/п; д. Дуброво Екимовичского

р-на Западной обл., крестьянин-единоличник. Арестован 24 сентября 1937 г. Екимовичским РО УНКВД. Приговорён: тройка УНКВД Западной обл. 29 сентября 1937 г., обв.: 588, 10, 11. Приговор: расстрел. Расстрелян 2 октября 1937 г. Реабилитирован 19 апреля 1989 г. Прокуратура Смоленской области (источник: «Книга памяти Смоленской области»).